

Осужденный Онегин

1

В эпиграфе к пушкинскому роману в стихах характерны осторожные слова о «чувстве превосходства, быть может мнимого». В первых главах романа это «sentiment de supériorité» у Онегина представляется законным, это превосходство — реальным. В дальнейшем оно оказывается все-таки мнимым.

Конечно, здесь нужны разграничения: превосходство — по отношению к кому? Благоразумные люди спрашивают поэта о его герое (восьмая глава):

Все тот же ль он, иль усмирился?
Иль корчит так же чудака?
Скажите, чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной,
Иль просто будет добрый малый,
Как вы да я, как целый свет?
По крайней мере мой совет:
Отстать от моды обветшалою.
Довольно он морочил свет...

Пушкин энергично возражает:

— Зачем же так неблагосклонно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем,
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит,
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры,
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?

Разумеется, Онегин выше этой окружающей его посредственности. По отношению к ней его превосходство сохраняет свою прежнюю силу. Но есть более высокий суд — отказывающейся от Онегина Татьяны. На этом суде Онегин осужден. Что значит это осуждение, каков его смысл?

Онегины и их судьба — одна из классических тем нашей классической критики. Казалось бы, незачем возвращаться к вопросу, на который был дан в свое время ответ, по существу, конечно, правильный. И все же нужно об этом говорить, поскольку социологическое литературоведение пыталось найти другое, новое решение этого вопроса. Правда, эти социологические построения сдаются теперь в архив. Теперь вряд ли кто-нибудь будет оспаривать слова Белинского об «Онегине», как об «энциклопедии русской жизни». Дело в том, как применять и развивать это замечательное определение. Легче всего заняться перечислением: Пушкин рассказал о воспитании светского молодого человека начала XIX столетия; показал, как он проводит свой день; показал театр (внутри и снаружи); кабинет примерного воспитанника мод; утро трудового Петербурга и т. д. и т. д. Такие перечисления необходимы, но исчерпать содержания романа они не могут; нужно найти стержень всего этого; в противном случае останется непонятным само богатство наблюдений, этот охват (даже в одной только первой главе) — от Истоминой до кучеров, лакеев, разносчиков и пр. Без этого стержня «энциклопедия русской жизни» окажется энциклопедией быта — и только. (Не так давно один критик утверждал, что у Пушкина нет отражения типического, что Пушкин ограничивается миром «конкретной видимости».) Между тем речь идет об отражении эпохи, со всей ее проблематикой.

2

Придется опять говорить о концепции Д. Д. Благого — наиболее квалифицированной и детально разработанной из всех социологических трактовок пушкинского творчества. Другие «социологи» довольствуются обычно тем, что объясняют онегинскую скуку упадком дворянской экономики, и на этом останавливаются; Д. Д. Благой хочет социологически осмыслить роман в целом, понять основное в романе: противопоставление образов Онегина и Татьяны.

По Д. Д. Благому, Пушкин выдвигал «целую стройную социально-экономическую теорию».

Дворянство сильно, поскольку оно сидит на земле, — источнике его классово-экономической жизни, — живет в своих поместьях, вотчинах, — прочно держится на хозяйственно-экономических корнях. Дворянин и исторически, и по своей социально-экономической природе — помещик. Перестает он быть помещиком, и — «... вот причина быстрого упадка нашего дворянства: дед был богат, сын нуждается, внук — идет по-миру»... Душевный мир Онегина, его «тоска, сплин, скука, хандра», является, по Пушкину, результатом его извращенного социального бытия, которое, в свою очередь, — результат ненормальности бытия экономического... Однако, Пушкин, как свойственно всякому большому

поэту, мыслит не отвлеченными теориями, а живыми пластическими образами. Необходимость возврата дворян из городов в свои имения, как единственное средство борьбы против упадка дворянства, предстала ему, прежде всего, в живых художественных образах сельского помещичьего быта, изображением которых заняты средние главы «Евгения Онегина». «В Онегине Пушкиным дано изображение болезни, рокового и неизлечимого недуга, поражающего лучших представителей дворянства, оторвавшихся от присущей им социально-экономической почвы. В Татьяне показана возможность оздоровления, омоложения дворянства, возвращенного своему «отчому дому», земле, родным корням — залог спасения класса». «Преодолев и разоблачив в реалистическом образе Онегина, в реалистических формах «романа в стихах» свой юношески-незрелый мятежный романтизм, — в образе Татьяны Пушкин противопоставляет ему дворянско-консервативный романтизм, романтизм шестисотлетней родословной, чтобы в дальнейшем преодолеть и его...»¹.

Эта интерпретация «Онегина» получила довольно широкое распространение. Ее повторяет другой автор: «Подчинившись исторической неизбежности потери своего политического господства, дворянская аристократия переживала процесс экономического разложения: разоряясь и теряя экономическое благосостояние... она должна была принять какие-то меры к задержанию этого разорения. Тяга к земле, к своим родным имениям, их единственному, еще более или менее надежному оплоту, сменяла деревенные мечтания о своих политических правах. Может быть, в этом и кроется тот оттенок некоторой идеализации семьи Лариных...» и т. д.².

Это — неверное толкование «Онегина».

Вопрос о том, где жить: в столице или в деревне — стоял тогда перед широкими кругами дворянства. Весьма реальные интересы предопределяли для этих кругов решение этого вопроса. Никакого романтизма, голая практика: денег нехватало для столичной жизни. Не нужно было быть Пушкиным и не требовалось стройной социально-экономической теории для того, чтобы решить, как нужно поступать в подобных обстоятельствах. Гакстгаузен в своей известной книге о России говорит об исходе дворянства из столицы в деревню и в провинциальные города, начавшемся будто бы с 1812 г. («die Katastrophe von 1812»). Гакстгаузен объясняет этот исход отчасти последствиями пожара, разорившего московское дворянство (конечно, тут действовали более серьезные причины. — В. А.), отчасти тем, что при переходе от оброча к барщине и при организации в поместьях промышленных заведений, основанных на крепостном труде, помещики — кроме наиболее богатых — были вынуждены подолгу жить в своих деревнях³.

¹ Д. Благой, Социология творчества Пушкина. 1931, стр. 131, 192, 146, 168.

² С. И. Леушева, Дialeктика образа протестанта в творчестве Пушкина. «Литература и марксизм», 1929, № 5, стр. 87.

³ Studien über die innern Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands. Von August Freiherrn, von Haxthausen. Zweiter Theil. Hanover, 1847, SS. 118—119.

Но вовсе не в этом «возвращении к социально-экономическим корням» заключается «основной социальный смысл» пушкинского романа. Вовсе не за эту «оторванность от корней» осужден Онегин. И вовсе не эта «возможность оздоровления», не эта «необходимость возврата дворян из городов в свои имения» показана в образе Татьяны.

Пушкин неоднократно говорит о том, что место дворянства не в городе, а в деревне. Не следует только преувеличивать значение этих его высказываний.

«Звание помещика есть та же служба» — пишет из деревни Владимир** своему приятелю в Петербург («Роман в письмах», 1829). «Заниматься тремя тысячами душ, коих все благосостояние зависит совершенно от нас, важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические депеши. Небрежение, в котором оставляем мы наших крестьян, непростительно. Чем более имеем мы над ними прав, тем более имеем и обязанностей в их отношении. Мы [оставляем] их на произвол плута-приказчика, который их притесняет, а нас обкрадывает. Мы проживаем в долг наши будущие доходы — и разоряемся; старость нас застаёт в нужде и хлопотах...» и т. д.

Но вот это доктринерство¹ сталкивается с реальностью. Перед Владимиром** дворяне, проживающие в деревне. «Эти господа не служат и сами занимаются управлением своих деревушек; но, признаюсь, дай бог им промотаться, как нашему брату! Какая дикость! Для них не прошли еще времена Фонвизина. — Между ими процветают Простаковы и Скотинины!» Это — в том же самом письме, в котором Владимир** проповедует «возвращение к социально-экономическим корням».

Д. Д. Благой говорит, что, по Пушкину, дворянство должно не просто вернуться в деревню, оно должно сохранить при этом элементы городской культуры. Но Владимир** и не мечтает о том, что его соседи могут стать носителями какой-то культуры; — это люди безнадёжные.

Такое отношение Пушкина к доктринерству Владимира** (и своему собственному) в высшей степени характерно. Говорят, что Пушкин заботится «об укреплении экономической мощи своего класса». Вот как он о ней заботится: если его «братьями по классу» оказываются Скотинины и Простаковы — морт с ней, с этой экономической мощью, — «дай бог им промотаться...»

«Если понимание Рикардо, — говорит Маркс, — в общем соответствует интересам промышленной буржуазии, то только потому, что ее интересы совпадают с интересами производства или производительного развития человеческого труда, и постольку, поскольку совпадают. Где интересы развития производительной силы труда вступают в противоречие с интересами буржуазии, Рикардо столь же прямолинейно выступает против буржуазии, как в других случаях против пролетариата и аристократии»².

¹ «Нравственные размышления на счет управления имений» — как говорит об этом (не без иронии) приятель Владимира.

² Маркс, Теория прибавочной стоимости. Ч. II, вып. 1, изд. 1923 г., стр. 222—223.

Когда Пушкин встречает людей, не соответствующих тем требованиям, которые он предъявляет к дворянству, он не колеблется в выборе; эти свои требования, свои культурные и политические идеалы Пушкин не собирается приносить в жертву экономическим интересам Скотининых и Простаковых. Лучше разорение, чем преуспевающая дикость: «дай бог им промотаться, как нашему брату».

«...Звание помещика есть та же служба...» Не мешает вспомнить о том, как Пушкин относился к своим собственным выступлениям в этой роли. В январе 1836 г. сестра Пушкина пишет своему мужу: «...это приводит только к разлитию желчи; я не помню, чтобы он (Пушкин.— В. А.) был когда-нибудь в таком отвратительном настроении. Он кричал до хрипоты, что он предпочитает отдать все, что у него есть (со исключением, может быть, и жены), чем иметь снова дело с Боддиным, управителем, ломбардом и т. д.». Эти крики до хрипоты отнюдь не свидетельствуют о симпатиях Пушкина к родным социально-экономическим корням. Не нравились Пушкину эти корни.

3

Мы попытаемся применить предложенную Д. Д. Благим интерпретацию «Онегина» не к пушкинскому роману, а к другому произведению. Дальше будет видно, зачем это нам понадобилось.

Д. Д. Благой говорит об «опустошенном полумертвце, вымирающем Онегине». Лев Алексеевич Агарин тоже не блещет здоровьем — ни социальным, ни физическим.

Тонок и бледен. В лорнетку глядел,
Мало волос на макушке имел.

Конечно, его беда — в оторванности от корней, еще большей, чем у Онегина, поскольку Лев Алексеевич проживает даже не в Петербурге, а преимущественно за границей.

Все там приволье и роскошь, и чудо,
Да высылали доходы мне худо.

«Вымирает» он прямо на глазах у читателя. После двухлетнего отсутствия он возвращается в свою усадьбу еще более бледным и плешивым. Он бледнеет и лысеет, а вот проживающая в деревне Саша за эти два года становится «пышной и красивой».

Татьяна — девушка, далекая от экономики, совершенно не интересующаяся процессами сельскохозяйственного производства, несравненно меньше может содействовать пропаганде возвращения к «корням», чем Саша. Мечтательная Татьяна

...любила на балконе
Предупреждать зари восход..

У Саши любовь к природе более действенная. Саша увлечена как раз тем, чем должны увлекаться верные «родным корням», бодрые и здоровые помещики.

Вот по распаханной, черной поляне,
 Землю взрывая, бредут поселяне —
 Саша в них видит довольных судьбой
 Мирных хранителей жизни простой...

(Явная идеализация положения крепостного крестьянства. Дворянская консервативно-романтическая идиллия.)

Весело видеть семью поселян,
 В землю бросающих горсти семян...

Но веселей нет поры обмолота:
 Легкая дружно спорится работа;

Саша проснется — бежит на гумно.
 Солнышка нет — ни светло, ни темно,
 Только что шумное стадо прогнали.
 Как на подмерзлой грязи натоптали
 Лошади, овцы!.. Парным молоком
 В воздухе пахнет...

То, что Саша плачет, когда вырубает лес, можно истолковать, как протест против хищнического отношения к лесному хозяйству, против истребления дворянских лесов.

Пушкин доказывает диких провинциальных дворян:

С своей супругою дородной
 Приехал толстый Пустяков;
 Гвоздин, хозяин превосходный,
 Владелец нищих мужиков;
 Скотинины, чета седая,
 С детьми всех возрастов, считая
 От тридцати до двух годов;
 Уездный франтик Петушков;
 Мой брат двоюродный, Буянов,
 В пуху, в картузе с козырьком
 (Как вам, конечно, он знаком),
 И отставной советник Флянов,
 Тяжелый сплетник, старый плут,
 Обжора, взяточник и шут.

А в том произведении, о котором мы говорим, нет и намек на критическое отношение к провинциальному дворянству.

Наконец, превосходство Саши над вымирающим Львом Алексеичем обнаруживается не в светской гостиной, а здесь же, в деревне.

Конечно, подобная интерпретация того произведения, о котором идет речь, — чудесной поэмы Некрасова «Саша» (1855 г.) — абсурдна и смехотворна. А между тем предлагаемое Д. Д. Благим толкование образов Онегина и Татьяны оказывается вполне применимым к героям некрасовской поэмы — даже в большей степени, чем к Онегину и Татьяне! И если это толкование оказывается неверным, когда его применяют к некрасовской «Саше», то это значит, что оно неприменимо и к пушкинскому роману, потому что тема двух этих произведений — одна

и та же¹, — только Некрасов развертывает эту тему на другом историческом этапе.

Наша классическая критика была права, когда рассматривала потомков, наследников Онегина и Татьяны — новые варианты, позднейшие воплощения этих образов — в связи с их прототипами.

Эту реальную историческую преемственность могут отрицать те, для которых объективный момент — отражаемая литературой действительность — исчезает, поглощается моментом субъективным, «психологией» писателя. Те, кто так подходит к литературе, конечно, должны утверждать, что пушкинский Онегин — это одно, а Онегин некрасовский — совсем другое. Но мы думаем, что т. Благой не разделяет этой точки зрения.

4

Болезнь Онегина объясняется не его оторванностью от «присущей ему социально-экономической почвы». Как мог бы Онегин принадлежать к лучшим представителям дворянства (так можно его назвать лишь с оговорками: конечно, декабристы лучше его), если бы он не оторвался от этих «корней»? Наоборот, историческое решение онегинской проблемы, радикальное средство против онегинской болезни — как раз в дальнейшем развитии этой оторванности, в доведении ее до конца, то-есть в переходе на сторону другого класса².

Пюдявшись выше рядовых людей своего социального круга, критически относясь к житейской практике своего класса (житейская, деловая практика буржуазии их тоже не устраивает³), Онегины не находят

¹ Вспомните хотя бы философию Льва Алексеича:

Оба тогда мы болтали пустое!
Умные люди решили другое,
Род человеческий низок и зол. —
Да и пошел! и пошел! и пошел!..

Разумеется, это — Онегин.

² Этот другой класс — не либеральная буржуазия. В переходе к ней не было бы ничего трудного и трагического.

³ К первой главе «Онегина» был приложен в качестве предисловия «Разговор книгопродавца с поэтом». Конечно, то, что Пушкин не любил «меркантильного духа» («копите злато») объясняется не какой-то кровной привязанностью к старо-дворянским основам. В сознании Пушкина меркантильная практика дворянства и буржуазии выступала как измена большим гражданским задачам, как забвение этих задач.

Вещали книжники, тревожились цари,
Толпа пред ними волновалась,
Разоблаченные пустыли алтари,
[свободы буря] подымалась
И вдруг нагрянула... Упали в прах и в кровь,
Разбились ветхие 'скрижали...

Так говорит Пушкин о буржуазной французской революции, а вот практика буржуазного общества:

Порочные сердца застыли,
Отечество [рабы] в отчаяньи забыли,
За злато продал брата брат...

той деятельности, в которой они могли бы реализовать это свое превосходство, это критическое отношение.

Все это давным-давно известно. Онегина — писал Белинский — «можно назвать эгоистом поневоле; в его эгоизме¹ должно видеть то, что древние называли «*fatum*». Благая, благотворная, полезная деятельность! Зачем не предался ей Онегин? Зачем не искал он в ней своего удовольствия? Зачем? Зачем? — Затем, милостивые государи, что пускым людям легче спрашивать, нежели дельным отвечать...»

Прибегнув к этой фигуре умолчания, весьма уместной в подцензурной печати, Белинский вспоминает пятую и шестую строфы второй главы романа:

.
И в голос все решили так:
Что он опаснейший чудак.
.
«Сосед наш неуч, сумасбродит,
«Он фармазон»... _

— и продолжает: «что-нибудь делать можно только в обществе, на основании общественных потребностей, указываемых самою действительностью, а не теориею: но что бы стал делать Онегин в сообществе с такими прекрасными соседями, в кругу таких милых ближних?»².

«Онегин, это русский» — говорит Герцен — «он возможен только в России... он никогда ничем не занимался, человек лишний в той сфере, в которой находится, и не имеющий достаточно характера, чтобы из нее выйти». «...Нам прививают желанья, стремления, страдания современного мира и нам кричат: «оставайтесь рабами, немymi, бездейственными — или вы погибли». В награду нам оставляют право сдирать шкуру с крестьян... Юноша не встречает никакого живого интереса в этом мире раболепия и мелочного честолюбия. И, однако, в этом-то обществе он осужден жить, так как народ еще более от него отдален...» «Цивилизация и рабство, даже без всякого «лоскутка» («*un chiffon*») между ними...» «Мы всем занимаемся: музыкой, философией, любовью, военным искус-

¹ Это не совсем то, что эгоизм Адольфа в романе Б. Констана. Белинский отнес бы Адольфа — личность несравненно более мелкую, чем пушкинский Онегин, — в другую рубрику своей классификации эгоистов. «*J'aragevais dans Ellénoire la privation de tous le succès auxquels j'aurais pu prétendre*. (Benjamin de Constant. Adolphe. Paris — Londres, 1806, p. 149).

Ему кажется, что его отношение к Эленоре лишает его тех успехов, на которые он мог бы претендовать. Речь идет о карьере. Так как Адольф не решил, чем он будет заниматься, он жалеет о всех карьерах сразу.

Это — эгоизм специфически (буржуазный, это то специфически буржуазное отношение к женщине, о котором так замечательно говорит Лафарг (см. его статью о «Сафо» Доде).

² «Облегчить участь мужика, — говорит там же Белинский, — конечно, много значило для мужика, но со стороны Онегина тут еще немного было сделано». — Кстати, об этой знаменитой замене барщины «оброком легким» Онегин поступал в соответствии с тогдашней либеральной доктриной. Шторх, экономист, пользовавшийся у нас тогда большою известностью, противник крепостного права, находил, что оброчная система «всего менее тяжела для рабов и менее неблагоприятна для развития национального богатства». См. В. И. Семевский, Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в. Т. I.

ством, мистицизмом, чтобы только рассеяться, чтобы забыться от гнетущей нас огромной пустоты». «Факт тот, что все мы — более или менее Онегины, раз только мы не предпочитаем быть чиновниками или помещиками»¹.

Можно ли связывать онегинские настроения со слабостью дворянских революционеров?

«Онегин, — говорит там же Герцен, — это — самое значительное произведение Пушкина, поглотившее половину его жизни. Эта поэма исходит именно из того периода, который нас здесь занимает; она созрела в те грустные годы (*il a été mûri par les tristes années*), которые следовали за 14 декабря...»

¹ Здесь усматривают ошибку: «непростительный, но довольно обычный анахронизм». — Как известно, первые три главы «Онегина» и часть главы четвертой написаны до 14 декабря 1825 г. — «Как можно объяснять характер и тип человека событиями последующего десятилетия?» — спрашивал Иванов-Разумник².

Слова Герцена неправильно истолковываются. Пушкинская поэма «исходит из того периода, который нас здесь занимает»: речь идет о периоде с 1812 по 1825 г.; этому периоду посвящен в книге Герцена особый раздел, откуда и взята приводимая цитата. «Грустные годы, которые следовали» и т. д. лишь сделали поэму более зрелой (ср. цитированный выше основной французский текст). В следующем разделе — «Литература и общественная мысль после 14 декабря 1825 г.» — Герцен прямо говорит о том, что «Онегин» начат до 1825 г.³

Ту мысль, которую так неосновательно приписывают Герцену, можно найти у Ключевского. Для него пушкинский «Онегин» — именно результат 1825 г. «Мы все читали сочинения и записки людей, чаявших обновления России после войн за освобождение Европы. Припоминая читанное, мы знаем, чем были Онегины (т. е. предки пушкинского Онегина. — В. А.) после 1815 г. Поэма Пушкина рассказывает, чем стали они после 1825 г. Это — Чацкие, уставшие говорить и с разбитыми надеждами, а поэтому скучающие»⁴.

«Последующее десятилетие» не нужно отрывать от предыдущего. 14 декабря лишь наглядно показало ту слабость, которая могла ощущаться и раньше. Конечно, онегинские настроения были распространены и до 14 декабря⁵; после 14 декабря они усиливаются, обостряются, но

¹ Герцен, О развитии революционных идей в России. Полное собрание сочинений и писем. Т. VI, стр. 355—356.

² Сам он в соответствии со своей общей концепцией трактовал «лишних людей», как категорию внеклассовую и неисторическую. См. его статью об «Онегине» в III т. венгерского Пушкина.

³ Герцен, цит. соч., стр. 373—375.

⁴ Речь, произнесенная в день открытия памятника Пушкину. Очерки и речи. (Второй сборник статей В. Ключевского, стр. 65.)

⁵ 9 марта 1825 г. А. А. Бестужев писал Пушкину: «вижу (в Онегине. — В. А.) человека, которых тысячи встречаю наяву, ибо самая холодность и мизантропия, и странность теперь в числе туалетных приборов». Бестужев видит в Онегине «франта, который душой и телом предан моде». Бестужев с уп-

и до поражения дворянских революционеров были люди, идейно во многом близкие им, но не верившие в возможность борьбы. Таков прежде всего сам Онегин, который уважает в других решимость, но никаких надежд на осуществление освободительных идеалов не питает¹. Самим декабристам не чуждо ощущение одиночества, обреченности, но декабристы — не Онегины: гражданскую скорбь Рылеева, разумеется, нельзя отождествлять с онегинской хандрой.

Во всяком случае нельзя проследивать генезис и дальнейшую судьбу онегинских настроений, выводя их непосредственно из экономики (понимаемой к тому же очень упрощенно), забывая о классовой борьбе, минуя события гражданской истории.

Онегин заранее убежден в том, что «ничего сделать нельзя и не нужно делать» (так резюмирует его философию Ключевский), настолько убежден, и весь его характер настолько предопределяется этим убеждением², что могло показаться, будто характер этот возникает лишь после 14 декабря 1825 г.

Сам Пушкин не воспринял катастрофы 14 декабря, как событие, оправдывающее онегинские настроения. Наоборот³.

Вспомните эти строки первой главы романа:

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей...

реком спрашивает Пушкина: «...дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов? поставил ли ты его в контраст со светом, чтобы в резком эпитетиве показать его резкие черты?» (Соч. Пушкина, изд. Акад. наук. Переписка, под ред. В. И. Саитова. Т. 1, 1906, стр. 187). Рылеев ставил «Онегина» ниже «Бахчисарайского фонтана» и «Кавказского пленника».

Ответ Пушкина. Бестужеву много раз цитировался. «Ты говоришь о сатире англичанина Байрона и сравниваешь ее с имеею, и требуешь от меня таковой же! Нет, моя душа, многое хочешь. Где у меня сатира? О ней и помину нет в Е. в. г. О. н. У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сатиры» (24 марта 1825 г.).

¹ О том, как Онегин мог бы притти к декабристам (десятая глава) мы говорили в другой статье.

² В частности, этим предопределяется и онегинский дэндиизм. Л. Гроссман, кажется, склонен был находить в дэндиизме некую положительную ценность. По мнению Л. Гроссмана, скрытым замыслом «лучших представителей» русского дэндиизма (к ним Л. Гроссман относил Чаадаева, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова...) было «стремление окристаллизовать текущую сущность русского быта, собрать и сгустить ее, сообщить ей твердость и блеск алмаза». — Российский быт, да еще сгущенный, да еще затвердевший... «Глубокое восприятие дэндиизма, придавшее своеобразное очарование его (Пушкина — В. А.) личности, сообщило свой магический блеск его строфам» (Л. Гроссман, Этюды о Пушкине, 1923). Право, не только Блок (см. его статью «Русские дэнды»), но даже Барбе д'Оревидиль в своей знаменитой книге проявил более критическое отношение к дэндиизму, чем Л. Гроссман. «Страстный человек, — писал Барбе, — слишком правдив, чтобы быть дэнди. Альфиери не смог бы никогда быть дэнди, а Байрон бывал им лишь в иные дни».

Конечно, Пушкин не был дэнди.

³ Разочарованного индивидуалиста Пушкин критиковал и раньше (Ср. Б. Жирмунский, Байрон и Пушкин. 1924, стр. 36 и 107), но здесь, в реалистическом романе, на другом этапе творческого развития Пушкина, критика эта приобретает особое значение.



Татьяна и няня

Татьяна и няня. Рис. К. Федотова

Правда, Онегин презирает не всех. «Иных он очень отличал». Но все же он

..миг покоя своего
Не отдал бы ни для кого.

Пусть он «сноснее многих», пусть он — «эгоист поневоле». Но все же он — эгоист. Онегинская установка после 14 декабря оказывалась какой-то слишком уж удобной. Когда Пушкин позднее обращается

к изображению гибели протестующей личности, в его голосе нет никаких онегинских интонаций — только горячее человеческое сочувствие. Так говорит он о несчастном герое «Медного всадника»; и как бы ни толковались статьи о Радищеве, нельзя забывать, с каким восхищением говорит Пушкин о необыкновенном духе, об «удивительном самоотвержении» этого человека. Это — не Онегины.

5

Пушкин делает героиней романа девушку, выросшую в деревне, и противопоставляет эту девушку Онегину не для того, чтобы таким образом продемонстрировать возможность оздоровления дворянства. Пушкин полагал, что здесь, в этой среде, можно найти органический, «самобытный» женский (именно женский) характер. «Уединение, свобода и чтение рано в них (уездных барышнях.— В. А.) развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам... шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное: особенность характера, самобытность (individualité), без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же разнообразными, как и головные уборы» («Барышня-крестьянка»). И в другом месте: «Эта девушка, выросшая под яблонями и между скирд, воспитанная природой и старыми нянюшками, гораздо милее наших однообразных красавиц, которые до свадьбы придерживаются мнения матерей, а после — мнения своих мужьев» («Роман в письмах»).

Вовсе не обязательно под эти мысли Пушкина подводить специально придумываемый социологический эквивалент. Как мы видели, в деревне выращивает свою Сашу и Некрасов, подозревать которого в желании омолодить дворянство, ясное дело, не приходится.

«Вся жизнь ее,— говорит о Татьяне Белинский,— проникнута тою целостностью, тем единством, которое в мире искусства составляет высочайшее достоинство художественного произведения».

Органичность — основная категория пушкинской этики и эстетики, так тесно связанных друг с другом. Искусство, преодолевающее позу и нарочитость, обращается к «низкой природе», к этому грустному, виду, к этим бедным пространствам: «два только деревца».

А мне, Онегин, пышность эта,
 Постылой жизни мишура,
 Мои успехи в вихре света,
 Мой модный дом и вечера,
 Что в них? Сейчас отдашь я рада
 Всю эту ветошь маскарада,
 Весь этот блеск, и шум, и чад
 За полку книг, за дикий сад,
 За наше бедное жилище,
 За те места, где в первый раз,
 Онегин, видела я вас,
 Да за смиренное кладбище,

Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моею...¹

Жалкос, разрушенное — кому это нужно? Умершая старуха, о которой, кроме Татьяны, никто не вспомнит. Это несравненно дальше от всего того, что полагается любить благоразумным людям, это гораздо страннее, чем все причуды Онегина. Но эти печальные воспоминания, это щемящее чувство, эта боль — они для Татьяны всего дороже, она говорит о них, как о своей подлинной сущности, своей душе.

Она не знает, откуда к ней это пришло и что ей со всем этим делать. Когда-то она жаловалась тому, кого приняла за героя:

Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает,
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.

Ее чувство к Онегину — не эгоистическое, не такое, которое могло бы удовлетворяться узко-личным счастьем. Она поняла, — говорит Белинский, — «что есть для человека интересы, есть страдания и скорби, кроме интереса страданий и скорби любви». — Может быть, она этого и не поняла. Но ее чувство для нее — путь к этим интересам, к какой-то другой жизни, которой она не знает, но которую предчувствует.

Эту черту мы находим у всех наследниц пушкинской Татьяны. «Ей нужно было чего-то больше, чего-то выше; но чего — она не знала, а если и знала, то не умела приняться за дело.» «...Что ей нужно, и главное, что делать, чтобы достигнуть того, что нужно, — этого она еще не знает...» (Добролюбов о Елене из тургеневского «Накануне»). «Она стремится к своему чему-то, хотя еще и не знает его хорошенько» (он же об Ольге из «Обломова»).

В образе Елены смысл этих предчувствий начинает проясняться. «Елена жаждет деятельного добра, она ищет возможности устроить счастье вокруг себя, потому что она не понимает возможности не только счастья, но даже и спокойствия собственного, если ее окружает горе, несчастья, бедность и унижение ее близких» (Добролюбов)².

¹ Ср. в седьмой главе:

Ей душно здесь... она мечтой
Стремится к жизни полевой,
В деревню, к бедным поселянам,
В уединенный уголок,
Где льется светлый ручеек,
К своим цветам, к своим романам
И в сумрак липовых аллей,
Туда, где он являлся ей.

² Позднее об этом прекрасно (гораздо лучше, чем Тургенев) скажет Чернышевский: «А ты не знаешь, что это странно; а я знаю, что это не странно, что это одно и натурально, одно и по-человечески, просто по-человечески: — «я чувствую радость и счастье» — значит, «мне хочется, чтобы все люди стали радостны и счастливы» — по-человечески, Верочка, эти обе мысли одно» («Что делать?»).

«Мне страшно подумать, Зигмунд», — говорит в романе Николая Островского «Рожденные бурей» большевику Сигизмунду Раевскому его жена Ядвига, — что вас (мужа и сына) могут отнять у меня». «...Иные отошли», — отве-

В личном чувстве этих женщин скрывается нечто большее, чем личное чувство. В этом отсутствии эгоизма, в этой глубокой человечности — особое обаяние женских образов, созданных классической русской литературой, образов, среди которых первое место занимает пушкинская Татьяна¹.

Вспомним, что говорит Щедрин о Золя и французском натуралистическом романе. Щедрин доказывает, как «безыдейная сытость» буржуазии влияет на литературу. «...Размеры нашего реализма несколько иные, чем у современной школы французских реалистов. Мы включаем в эту область всего человека, со всем разнообразием его определений и действительности; французы же главным образом интересуются торсом человека и из всего разнообразия его определений, с наибольшим рачением останавливаются на его физической правоспособности и на любовных подвигах». Понятно, что Щедрина, наследника и продолжателя традиций новой русской литературы, созданной Пушкиным, в величайшее негодование приводили эти обесчелоченные существа, эти «сильнодействующие женские торсы».

Что говорить о Золя—Пушкину гомерова Елена, в сравнении с его Татьяной, представлялась «пакостной»:

Никто и спорить тут не станет,
Хоть за Елену Менелай
Сто лет еще не перестанет
Казнить Фригийский бедный край...

чае Раевский, — «все свои заботы и мысли отдали семье. Для них гибель семьи — их собственная гибель. Но разве можно всю жизнь вмесить в эту комнату?»

«Наслаждение одним любимым существом само по себе ничто, если оно не служит делу ощущения и понимания тех многих существ, которые скрыты за этим единственным человеком» (А. Платонов, Бессмертие).

¹ Н. Рожков искал прообразы Татьяны (а заодно и Грибоедовской Софьи) не в русской литературе, а в русской истории, пытаясь, повидимому создать нечто подобное известной статье Ключевского о предках Онегина. Статья Рожкова очень слабая. Он находит два типа женщин: на одних «больно действовала, главным образом, пошлость окружающих житейских отношений»; такова пушкинская Татьяна. На других «влияла по преимуществу грубость житейских отношений, вызывавшая в них естественную реакцию, потребность сопротивления». Такова Грибоедовская Софья. Она испытывает чувство «отвращения перед грубым господством мужского произвола в семейных отношениях». «Ключичий ум» Чацкого «невольно внушает» ей «представление о грубости его натуре, о злости и склонности к насилию и произволу». Прообразом Татьяны оказывается Юлиания Осорына (конец XVI — начало XVII века); только «мечты о герое-спасителе от окружающей пошлости, столь свойственные Татьяне, были заменены у Юлиании представлением о небесном женихе (!), который спасет лучше человеческой помощи и даст возможность обрести лучшую, подлинную жизнь». Онегин, таким образом, оказывается преемником «небесного жениха», а этот последний, очевидно, предшественником Онегина! — Исторический прообраз Софьи — ...царевна Софья, отношения которой к Василию Голицыну «несколько напоминают отношения Грибоедовской Софьи к Молчалину» (Н. Рожков, Пушкинская Татьяна и Грибоедовская Софья в их связи с историей русской женщины XVII и XVIII веков. «Журнал для всех». 1899, № 5, стр. 561—566).

Не будем упрекать Пушкина за эту непочтительность. Он ведь не ставит свое искусство выше гомеровского.

Пушкин глубоко чувствовал прелесть античных образов; но «сонная скука полей», «избушек ряд убогой» требовали от него чего-то другого.

Д. Д. Благой не забывает о том, что «Пушкин всячески подчеркивает близость Татьяны к «русской», «простонародной» почве¹. Тов. Благой довольно подробно на этом останавливается. Он думает, что эти черты Татьяны не противоречат его интерпретации этого образа.

«Татьяна — жертва», — пишет другой исследователь, — ...«заложница», взятая большим светом из мира патриархально-дворянской (в субъективном сознании Пушкина — «народной») простоты»². Некоторые оговорки здесь, может быть, излишни. Автор ведь не хочет сказать, что для Пушкина не было другой народности — за пределами этого патриархально-дворянского мира. Разумеется, для субъективного сознания Пушкина существовала и другая народная простота.

Пушкин противопоставляет Онегину женщину его круга не потому, что Пушкин — дворянин. Здесь вовсе не ограниченность какого-то субъективно социологического порядка; это продиктовано объективным значением образов, реальным материалом.

Для того, чтобы осудить Онегина, нужно было говорить на общем с ним языке. Такого языка не могло быть у женщины из народа. Здесь пришлось бы сочинительствовать. Если бы роль Татьяны была отдана крестьянке, крестьянка эта была бы романтической фальсификацией — той же Татьяной в образе крестьянки, опять-таки не потому, что Пушкин не смог бы реалистически изобразить женщину из народа (Пушкин мог это делать и делал), а потому, что не было таких женщин из народа, которые могли бы быть партнерами Онегина. Пушкин не будет обманывать себя и других; если переодевание, так пусть это будет переодевание в самом смысле этого слова, веселая, добродушная история: «Ах, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!» «И в самом деле; наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово... «Откуда ты?» — «Из Прилучина; я дочь Василья кузнеца, иду по грибы». Алексей Берестов влюбляется в эту, Акулину. Он уверен, что она крестьянка, и все же предлагает ей руку. «Акулина, Акулина!» — А она — передетая барышня: «Mais laissez moi donc, Monsieur; mais êtes-vous fou?».

К тому же этот славный мальчик — не настоящий Онегин. Он только притворяется мрачным и разочарованным. Настоящий Онегин вряд ли помнит, как зовут «белянку черноокою», о которой мимоходом говорится в четвертой главе. Ведь даже Татьяну — для того, чтобы отношение Онегина к ней изменилось, — пришлось переместить в другую сферу, в светское общество.

Во всем этом — такт несравненного художника-реалиста. Никаких преувеличений. Подчеркивая русское, простонародное в Татьяне, Пушкин вместе с тем не забывает о ее французском языке — черта неизбеж-

¹ Д. Благой, цит. соч., стр. 145.

² В. Гиппиус, Проблема Пушкина. Пушкин, «Временник». I стр. 258.



Рис. Пушкина. «Пушкин и Онегин» (проект иллюстр. к XLVIII строфе первой главы Евгения Онегина, ноябрь 1824 г., Михайловское)

ная, о которой нельзя было умолчать. И все-таки Татьяна — «русская душою»:

Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала...

Пушкин не развивает этого. Тут нет тех кошек и собак, которыми «не гнушается» тургеневская Елена, тут нет нищей девочки Кати, черствый хлеб которой тургеневская героиня ест «с чувством радостного смирения».

Бедных могла посещать какая-нибудь барыня, ничего общего с Татьяной не имеющая. Дело не в этих посещениях.

Мы не собираемся превращать Татьяну в аллегорический образ (что-нибудь вроде спящей княжны в замечательной песне Бородина) или в какую-то печальницу о судьбах народных.

Татьяна так близко стоит к дорогому для Пушкина народному миру, выражает его в той форме, так с ним связана, как это было возможно для женщины ее круга в реальных условиях того времени¹.

6

Теперь о той ситуации, в которой действуют два эти образа.

Н. О. Лернер указывал на возможную связь сюжета «Онегина» с сюжетом рылеевского рассказа «Чудак»:

«Угрюмов был странный человек: он ненавидел женщин и, не веря добродетели их, везде доносил прекрасных»².

Приятель Угрюмова пишет ему:

«Так, любезный друг, я боюсь за тебя. Нежный пол, тобою оскорбленный, будет непременно отомщен».

— «И представьте: боязнь шутивого друга была справедлива! По прошествии года Лиза вышла за Ариста, друга Угрюмова. Посещая их, чудак неприметно влюбился в прежнюю свою невесту, и на опыте дознал, что и женщины могут быть добродетельными, ибо Лиза, несмотря на то, что сама пламенно полюбила Угрюмова, осталась верною супругою Ариста, за которого отдана была против желания...»³.

Это очень галантно по отношению к нежному полу, но бесконечно далеко от тех задач, которые стояли перед создаваемой Пушкиным новой русской литературой. Н. О. Лернер не говорит, разумеется, о «каком-нибудь прямом влиянии» этой «ничтожной вещицы» на генеральный роман. Но вряд ли здесь даже «простая реминисценция неко-

¹ Полина в пушкинском «Рославлеве» (1830) говорит о своих симпатиях более определенно, в более четких категориях, чем Татьяна. «Но пускай,— с жаром продолжала Полина,— пускай она (мадам де Сталь — В. А.) выведет об этой светской черни мнение, которого они достойны. По крайней мере, она видела наш добрый простой народ и понимает его». Пушкин изобразил женщину, которая ставит «простой народ» выше «светской черни». Но, разумеется, никто не станет утверждать, что образ Полины более реалистичен, более народен, чем образ Татьяна.

² К. Р — в, Чудак. «Невский зритель». Ежемесячное издание. Часть пятая. Февраль, 1821, стр. 160.

³ Там же, стр. 163.

торых образов и положений, послуживших великому художнику канвой, на которой он расшил свою картину»¹.

Предполагаемый герой оказывается недостойным героини; вот главное в «онегинской ситуации». Мотив: он ее полюбил, но было поздно, — играет подчиненную роль в развитии сюжета, которое органически вытекает из противопоставления характеров. Онегин не мог оценить Татьяны; для того, чтобы он выслушал ее отповедь, свой приговор, он должен был взглянуть на нее другими глазами, полюбить ее.

Героиня развенчивает героя. Как объяснить это распределение ролей? Если в пушкинском романе содержится та самая мораль, которую в нем находит т. Благой, то не все ли равно, кто является носителем этой морали — женщина или мужчина? Ведь могло бы, казалось, быть и так: здоровый сельскохозяйственный джентльмен осуждает светскую, оторвавшуюся от экономической почвы девицу. Между тем во всех позднейших вариантах онегинской темы повторяется то же самое: судей оказывается женщина.

«...Каждый из обломовцев, — говорит Добрулюбов, причисляющий к обломовцам, конечно, и Онегина, — встречал женщину выше себя... и каждый постыдно бежал от ее любви, или добивался того, чтобы она сама прогнала его»... Сам т. Благой правильно отмечает, что и в других произведениях самого Пушкина героиня «постепенно одолевает» мужчину-героя. Почему это так?

Здесь нужно будет сделать небольшое отступление.

Отношения к матери, жене, ребенку, товарищу, эти «категории личной жизни» — социальные категории. Они складываются и меняются исторически. Отражение их в искусстве имеет огромную воспитательную ценность. Все это не существует для вульгарной социологии², поскольку она, с одной стороны, не хочет ничего знать об отражении действительности, и поскольку она, с другой стороны, превращает писателя — будь это Пушкин, Бальзак или Шекспир — в «духом хладного скопца», в воплощенную эксплуататорскую корысть, в «экономическое животное».

В историческом развитии трактовки женских (и детских) образов с особой ясностью обнаруживается связь социального смысла произведения с эмоциональным строем этого произведения и определяющая роль этого социального смысла.

Энгельс высоко ценит мысль Фурье о том, что «степень свободы, достигнутая данным обществом, должна измеряться большей или меньшей свободой женщины в этом обществе»³.

Неудивительно, что в демократической граждански-обличительной литературе XIX столетия такое место занимают страдающая женщина и страдающий ребенок. Их угнетение, их страдание с особой эмоциональной силой свидетельствуют против того общества, которое эти

¹ Н. О. Лернер, Рассказы о Пушкине. 1929, стр. 86.

² Здесь мы берем эту социологию в ее предельном выражении и, конечно, не имеем в виду: т. Благого.

³ Энгельс, Антидюринг. Соч. Т. XIV. Соцэкиз, стр. 263.

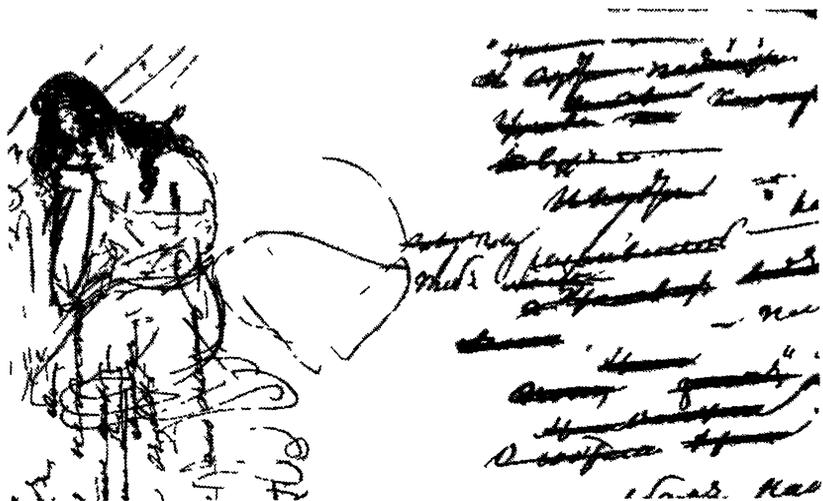


Рис. Пушкина. Татьяна, сидящая на постели (на черновике 22 строфы III гл. «Евгения Онегина», начало июня 1824 г., Одесса)

страдания порождает. Отсюда — образ музы Некрасова: «бледная, в крови, кнутом иссеченная».

Рабочее движение и пролетарская литература поднимают эту тему на новую, более высокую ступень. Трудно говорить о таком образе, как горьковский образ матери. Прежние матери мучаются и жалеют; они бессильны помочь сыну, которого любят и не понимают. Здесь же страдание перестает быть пассивным страданием, оно превращается в понимание и деятельность. В этой женщине — все богатство материнского чувства; но теперь она — мать не только одного своего сына. Конечно, только рабочее движение могло дать художнику такой образ.

Вернемся к Пушкину. Его повесть о Марии Шонинг (отрывки, до сих пор не оцененные во всем их значении) показывает, что Пушкину не было чуждо то осмысливание образа страдающей женщины, которое позднее, в развернутой форме, находим у Некрасова. Но здесь, разумеется, речь идет о другом.

Женщина господствующего класса, стоящая выше мужчины того же класса, — образ, достаточно широко распространенный. Он характерен для критического реализма и заставляет снова вспомнить и приводившуюся выше мысль Фурье, и то, что писал о положении женщины в буржуазной семье Энгельс (см. «Происхождение семьи, частной собственности и государства»). Однако в произведениях, развивающих «онегинскую тему», это превосходство особенное: героиня стоит не только выше рядового помещика или буржуа; она выше лучших людей своего общества.

Отношения между мужской и женской ролью в «онегинской ситуации» будут понятными, если поставить вопрос так: почему Онегины

обязательно мужчины? Для тех, кто не сводит смысл пушкинского романа непосредственно к экономике, ответить на этот вопрос легко. То поколение в истории русского общественного движения, — поколение, к которому принадлежат Онегины, было и в самом деле «мужским». Женщины стояли вне гражданской деятельности.

«Пустота братниных писем происходила не от его собственного ничтожества, но от предрассудка, впрочем, самого оскорбительного для нас. Он полагал, что с женщинами должно употреблять язык, приноровленный к слабости их понятий, и что важные предметы до нас не касаются» (Пушкин, Рославлев).

Онегины — сперва сомневающаяся периферия декабризма, потом — его отчаявшиеся эпигоны. Вспомним, что декабристок, по существу говоря не было; были жены декабристов; их героизм — высокий, но совершенно отличный, разумеется, от героизма революционерок следующего поколения. Это не самостоятельная деятельность¹.

А вместе с тем, «нет сомнения, — говорит дама, от лица которой ведется рассказ в пушкинском «Рославле», — что русские женщины лучше образованы, более читают, более мыслят, нежели мужчины, занятые бог знает чем».

Предполагалось само собой подразумеваемым, что гражданские интересы — не женское дело. Но отстраненная от всего этого, женщина тем самым свободна от той слабости, которую в этой своей деятельности — вернее, в этом своем бездействии (поскольку речь идет об Онегиных, а не о декабристах), обнаруживают мужчины ее класса, претендующие на роль героя.

Женщине остается роль судьбы. Женщина решает: настоящий человек перед ней или не настоящий, тот или не тот.

7

Всегда оказывается, что это — не тот. Тургенев пытался избежать этого, сводя героиню к нерусским герою, но был изобличен Добролюбовым: «Инсаров, как человек сознательно и всецело проникнутый идеей (освобождения родины и готовый принять в ней деятельную роль), не мог развиваться и проявить себя в современном русском обществе». Гончаров навязывает своей Ольге совсем негероического Штольца, но Добролюбов не без основания надеется, что «она оставит и Штольца, ежели перестанет верить в него. А это случится, ежели вопросы и сомнения не перестанут мучить ее», а он будет советовать ей «склонить голову».

¹Пушкин в том же «Рославле» пытался, повидимому, создать иной тип женщины (патриотическая Полина). «Помилуй, — сказала я однажды, — охота тебе вмешиваться не в наше дело. Пусть мужчины себе дерутся и кричат о политике; женщины на войну не ходят, и им дела нет до Бонапарта». Глаза ее засверкали. «Стыдись, — сказала она, — разве женщины не имеют отечества?... Я не признаю унижения, к которому присуждают нас. Посмотри на M-me de Staël. Наполеон боролся с нею, как с неприятельскою силою...»

То, что Онегины не стоят на высоте тех требований, которые к ним предъявляются, видно уже из их поведения по отношению к Татьянам. С какой язвительностью говорит об этом поведении революционно-демократическая критика!

«В отношении к женщинам,— пишет Добролюбов,— все обломовцы ведут себя одинаково постыдным образом. Они вовсе не умеют любить и не знают, чего искать в любви, точно так же, как и вообще в жизни... Только чуть дело дойдет до чего-нибудь серьезного, чуть они начнут подозревать, что перед ними действительно не игрушка, а женщина, которая может и от них потребовать уважения к своим правам,— они немедленно обращаются в постыднейшее бегство. Трусость у этих господ непомерная!.. Онегин струсил перед Татьяной, дважды струсил,— и в то время, когда принимал от нее урок, и тогда, когда сам ей давал его. Она ему ведь нравилась с самого начала, и если бы любила менее серьезно, он не подумал бы принять с нею тон старого правоучителя. А тут он увидел, что шутить опасно, и потому начал толковать о своей отжитой жизни, о дурном характере, о том, что она другого полюбит впоследствии, и т. д... А какими фразами-то прикрыл себя, малодушный!» («Что такое обломовщина?»).

О том же говорит Чернышевский в своей замечательной статье «Русский человек на rendez-vous». Когда Рудину, нужно, наконец, проявить решимость, он «только и находит в ответ восклицание: «о боже!» — восклицание больше конфузное, чем восторженное». Он «труслив и вял».

В самом деле: — Боже мой! Боже мой! — возразил Рудин: это жестоко! Так скоро!.. Такой внезапный удар!.. И ваша матушка пришла в такое негодование?

.....

« — Как вы думаете, что нам надобно теперь делать?

— Что нам делать? — возразил Рудин: — разумеется, покориться» («Рудин», гл. IX).

Этому противостоит смелость и непосредственность тех женщин, с которыми встречаются Онегины. «Помилуйте», — иронически воспроизводит Чернышевский «сотни голосов», осуждающих поведение тургеневской Аси. — «Как это можно, ведь это безумие! Начать rendez-vous молодому человеку! Ведь она губит себя, губит совершенно бесполезно!»¹.

У Пушкина в третьей главе (в рукописи):

Теперь мне должно б на досуге
Мою Татьяну оправдать —
Ревнивый критик в модном круге,
Предвижу, будет рассуждать:
Ужели не могли заране
Внушить задумчивой Татьяне
Приличий коренных устав...

¹ Полное собрание сочинений Чернышевского. Т. I. 1906, стр. 89, 91.

Само собой разумеется, демократические критики отнюдь не требуют от Онегиных того, что Щедрин называет «бестиальностью». Мы уже говорили: чувство, с которым эти женщины приходят к предполагаемому герою, — больше, чем личное чувство. Это ведь не натуралистический роман. Демократические критики превосходно раскрывают в «онегинской ситуации» связь личного и общественного, показывают, что в личном поведении Онегиных проявляются те же эгоизм, равнодушие, страх перед ответственностью, которые характерны для всего облика Онегиных. «Он не привык, — говорит Чернышевский о герое тургеневской «Аси», — понимать ничего великого и живого... Он робеет, он бессильно отступает от всего, на что нужна широкая решимость и благородный риск...»¹.

Это — не простое rendez-vous, это — общественный суд, и тот приговор, который произносят над этими неудавшимися героями женщины, повторяет потом история.

Много внимания уделялось знаменитой XXIV строфе седьмой главы «Онегина»:

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее — слава богу —
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада филь небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не породия ли он?

И дальше:

Ужели загадку разрешила?
Ужели слово найдено?

Значит ли это, что онегинские причуды и в самом деле подражательные, напускные? Но ведь в первой главе говорилось о его «неподражательной странности»; и в восьмой главе Пушкин выступает на защиту своего героя против тех благообразных людей, среди которых Онегин слывет «притворным чудачком»².

«Пародия», «подражанье» — не нужно понимать этого буквально. Конечно, Онегин не притворяется (сравните его с Алексеем Берестовым). Болезнь его органическая, но сам-то он человек не органический, «ненастоящий», не тот, который нужен Татьяне.

По-разному интерпретировалась и отповедь Татьяны Онегину.

«Наряду с заслуженными укоризнами и естественными преувеличениями обвинений...» — говорит Н. К. Пиксанов — «...Онегин слышит

¹ Чернышевский цит. статья, стр. 97.

² Ср. Н. К. Пиксанов, Из анализов «Онегина». К определению образа Евгения. Памяти П. Н. Сакулина. Сборник статей. 1931 г.

дорогие слова о своем благородстве, сердце, прямой чести, о возможном, близком некогда счастье с ним, наконец — о любви неизменной. Устами высокой героини, изволением поэта, Онегин получает эту последнюю заверительную и высокую оценку»¹.

Да, Татьяна любит его попрежнему, — но ведь и некрасовская Саша любит своего Льва Алексеевича, хотя и осуждает его. Да, Татьяна говорит о сердце, уме, благородстве Онегина, и все же смысл ее слов — осуждающий: в Онегине много хорошего, но он не тот, каким он должен был бы быть.

Если это не осуждение, то все, очевидно, сводится к тому, что между Татьяной и Онегиным стоит «толстый этот генерал», «князь N» — муж Татьяны. Кроме него ничто их друг от друга не отделяет:

Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.

Этих слов долго не могли простить Татьяне. Как-то неудобно к этому возвращаться — настолько все здесь ясно. В характере Татьяны эта черта, разумеется, не случайная — таковы ее взгляды, — но этим мотивировка отказа отнюдь не исчерпывается.

«Счастье было так возможно, так близко...» — Онегин сам виноват в том, что оно не состоялось. Он не понял Татьяны. Но ведь он и теперь ее не понимает. Ему чуждо то, что ей дорого, к чему, она стремится, что она смутно предчувствует. В этом беда Онегина, а не в святости брачных устоев, не в «толстом генерале».

Пушкин видел возможность другого решения, но в данном случае оно было неприемлемым.

«Полюбив Володского, она почувствовала отвращение от своего мужа, сродное одним женщинам и понятное только им, — однажды вошла она в кабинет, заперла за собой дверь и объявила, что она любит Володского, что не хочет обманывать мужа и втайне его бесчестить и что она решилась развестись. ** был встревожен таким чистосердечием, стремительностью; она не дала ему времени опомниться, в тот же день переехала с Английской набережной в Коломну и в короткой записочке уведомила обо всем В**, ничего тому подобного не ожидавшего».

Он был в отчаянии: никогда не думал он связать себя такими узами. Он не любил скуки, боялся всяких обязанностей и выше всего ценил свою себялюбивую независимость. — Но все было кончено. Зинаида оставалась на его руках» (Отрывок «На углу, маленькой площади...», 1829).

Можно представить себе, что из этого получается: «Я не сержусь, Валериан» — жалуется Зинаида (Пушкин изображает ее, как видим, с большой теплотой и сочувствием). — «но мне больно видеть, что с некоторого времени ты совсем переменился. Ты приезжаешь ко мне, как по обязанности, не по сердечному внушению. Тебе скучно со мною».

¹ Н. К. Пиксанов, Из анализов «Онегина». Пушкин и его современники. Вып. XXXVIII—XXXIX. 1930, стр. 161.

Ты молчишь, не знаешь, чем заняться, перевертываешь книги, придираешься ко мне, чтоб со мною побораниться и уехать... Я не упрекаю тебя: сердце наше не в нашей воле; но я...»

Разумеется, нельзя было ставить Татьяну в такое положение. К тому же она понимает Онегина.

Онегины не порывают с тем обществом, которое критикуют; женщина, которая уходит с Онегиным, должна с этим обществом порвать; но сам-то Онегин никуда уходить не собирается — так что «уйти с Онегиным» нельзя: у него нет самостоятельной деятельности, нет собственной сферы.

Когда приходит конец «онегинскому периоду» в русской общественной жизни и в русской литературе, когда появляются настоящие люди, — становится ясным, что женщина сама может и должна стать таким настоящим человеком, что вовсе незачем ей этого человека дожидаться. Уже о гончаровской Ольге Добролюбов говорит: «в ней-то более нежели в Штольце можно видеть намек на новую русскую жизнь; от нее можно ожидать слова, которое сожжет и развеет обломовщину...» Такие же надежды возлагает Некрасов на свою Сашу; бог с ним, с этим Львом Алексеичем — Саша обойдется и без него.

Отношения Веры Павловны с Лопуховым — одним из этих настоящих, «новых людей», — как называет их Чернышевский, — совершенно уж не похожи на «онегинскую ситуацию». И снится-то Вере Павловне (первый сон Верочки) не Лопухов, а та, кого Лопухов называет своей невестой: «...Я хочу, чтоб мои сестры и женихи выбирали только друг друга. Ты была заперта в подвале? Была разбита параличом?» — «Была». — «Теперь избавилась?» — «Да.» — «Это я тебя выпустила, я тебя вылечила. Помни же, что еще много невыпущенных, много невылеченных. Выпущай, лечи.»

8

Тему большого художественного произведения не выдумывают — ее открывают в самой действительности. Такова тема «Онегина».

Нет, кажется, другого произведения в истории русской литературы, которое породило бы столько других произведений, посвященных той же самой теме, и притом первоклассных: онегинское созвездие. Это — не подражания, это — дальнейшая разработка темы, открытой Пушкиным.

Белинский назвал «Онегина» «в высшей степени народным произведением». Эта народность — не только в отдельных образах, бытовых картинах, стиле, языке, она — и в самой теме, значении которой для народа, для его исторических путей, не подлежит, конечно, никакому сомнению. Вспомните ленинскую характеристику роли классов и сословий, смены поколений, действовавших в истории русского освободительного движения, — характеристику, вне которой нельзя понять Пушкина.

Онегины возникают до 14 декабря; но после 14 декабря дворянский герой неизбежно оказывается Онегиным. Борьбу, начатую декабристами, будут продолжать не Онегины, а другие люди, с других классовых позиций.

Онегиных сменяют не Штольцы, а Волгины, Рахметовы и Лопуховы. «...Как чувствуется веяние новой жизни,— писал Добролюбов,— когда, по прочтении Обломова, думаешь, что вызвало в литературе этот тип. Нельзя приписать этого единственно личному таланту автора и широте его воззрений. И силу таланта, и воззрения, самые широкие и гуманные, находим мы и у авторов, произведших прежние типы, приведенные нами выше. Но дело в том, что от появления первого из них, Онегина, до сих пор прошло уже тридцать лет. То, что было тогда в зародыше, что выражалось только в неясном полуслове, произнесенном шопотом, то приняло теперь определенную форму, высказалось открыто и громко. Фраза потеряла свое значение; явилась в самом обществе потребность настоящего дела».

Под конец своего исторического существования Онегины превращаются в Обломовых, и в самом Онегине Добролюбов находит обломовские черты. Выясняется, что благородное бездействие Онегиных возможно лишь при наличии некоторой социальной основы:

Это не бес, искуситель людской,
 Это, увы! — современный герой!
 Книжки читает, да по свету рыщет —
 Дела себе исполинского ищет,
 Благо наследье богатых отцов
 Освободило от малых трудов...

Явление в его развернутой форме дает ключ к пониманию зародышевой стадии того же явления. При анализе «Онегина» можно и должно обращаться к позднейшим разработкам онегинской темы. Это не значит, что мы отождествляем развернутую форму явления с неразвернутой. Кто же будет отрицать, что Пушкин относится к своему герою не так, как Добролюбов к обломовцам, или Некрасов — к Льву Алексеичу¹. Пушкин не разночинец-революционер, не революционный демократ.

Для того, чтобы Онегины уступили свое не по праву занимаемое ими место героя другим людям, нужно было критиковать Онегиных, критиковать онегинские установки и настроения. Довести эту критику до конца, дать ей «твердую и определенную форму» могли, конечно, лишь те, кто смелет Онегиных. Но начал эту критику Пушкин — в то время, когда этих людей еще не было.

Пушкин, открыв характер Онегина, первым сказал, что Онегин — «не тот». Пушкин увидел в онегинской разочарованности равнодушие, усталость, душевный холод, эгоизм — то, что мешает поискам другой, настоящей жизни. Мы знаем, что сам Пушкин в своих поисках этой жизни обращается к народу.

¹ Стоит отметить, что Некрасов, разоблачая своего Онегина, признает за ним и некоторые заслуги:

нетронутых сил
 В Саше так много сосед пробудил...

Это и была большая историческая дорога, вступить на которую Онегины, оставаясь Онегинскими, не могли. Подымалось новое поколение. Разница между Онегинскими и рядовым дворянином исчезала. Смысл онегинской темы, в этом ее историческом раскрытии, можно формулировать словами Огарева:

Нельзя идти, стремясь к добру,
На труд общественного дела,
Поэтизируя хандру
И усталъ сердца, усталъ тела...
...Не отзовется уж живой
На звук напыщенных томлений;
Не вступит праздною стопой
Отсед шляхетских поколений
В движенье жизни трудовой,
Ее страданий и стремлений,
Чтоб стать с народом — как должно —
В едином строе заодно.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Ж У Р Н А Л
ЛИТЕРАТУРНОЙ ТЕОРИИ
КРИТИКИ
И ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

К Н И Г А
П Е Р В А Я



Г О С Л И Т И З Д А Т
1 9 · Я Н В А Р Ь · 3 7